

ВОСПОМИНАНИЯ

Листопад

В. К. Иков

V. В своей семье

«А станешь стариться — нарви
Цветов, растущих на могилах,
И ими сердце оживи».
(Некрасов).

Я не случайно поставил в заголовке название старинной пьесы кн. Шаховского и Грибоедова, так блистательно инсценированной московским Реалистическим театром. Его, как бы помимо меня, инстинктивно вывело само перо. Я не принадлежу к Иванам-Непомнящим. Ни отречься от прошлого, ни тем более чернить его мне не позволило бы уже одно чувство, скажем, чистоплотности. Нет! Прошлым я дорожу. Долгие годы меньшевистская фракция была для меня *my house* (своим домом), «своей семьей»: ее идеи я разделял, с ее личным составом был связан бесчисленными узами. И я всецело несу ответственность за ее деятельность на протяжении тех лет, когда принадлежал, да позволял мне так определить, к ее офицерскому корпусу, к ее старшему и высшему комсоставу.

В качестве одного из «чинов» последнего я работал в ряде городов, был членом Южного обкома, агентом ЦК, кандидатом и членом ЦК, участвовал в партсъездах и конференциях, в редактировании парторганов, от имени и по поручению партии принимал участие в профсоюзной, клубной и прочей открытой массовой работе. Словом, верой и правдой посильно служил с-д-тии на всех участках движения. Не в целях бахвальства перечисляю я все это и заслуги здесь не вижу: таких, как я, было немало, и свои функции мы несли не по долгу и приказу, не как тяжелый крест обязательной явки, а добровольно, радостно и весело, как лично и свободно выбранное нами дело. Я перечислил все свои звания и должности только затем, чтобы возможно резче оттенить свою органическую связь с определенной средой. Если я сейчас критически расцениваю ее поступки и воззрения, то тем самым я наказую и себя!

Я стараюсь избежать превращения страниц «Листопада» в те реестры о здравии и упокоении, которые подавали в церквях набожные старушки. Кому нужно простое скопление фамилий, зачастую и в то время известных лишь в тесном кругу? Но совсем обойтись без святцев, без поминания я, разумеется, не в состоянии. Было много лиц встречено мною в эмиграции, чьих и фамилий-то подлинных я не знал. Но всем, упоминаемым мною и пропущенным здесь, я охотно послал бы свой дружеский привет! Да будет легка земля тому, кто уже покинул нас, да продлит судьба дни тем, кто еще не расстался и не стремится расстаться с этим миром, и «да поможет Господь Бог всем бесприютным скитальцам».

Продолжение. См. Вопросы истории, 1995, №№ 8, 9.

На первое время меня приютил у себя Мирон Пайкес, ставший в Женеве m-r Todorov (он же Sokolov). К этому довольно бесполезному камуфляжу прибегали все эмигранты, рассчитывавшие в скором времени вернуться на родину для партийной работы. Я говорю: бесполезному. Сохранить свое инкогнито мог лишь тот, кто по тем или другим причинам не попал в поле зрения внешних наблюдателей и секретных осведомителей российского правительства. А последних в нашей среде было предостаточно.

Весной 1904 г. женевская полиция неожиданно обязала всех русских (и только русских) обитателей Женевы выбрать себе *permis de séjour* (вид на жительство), т. е. попросту паспорта с предъявлением соответствующего удостоверения личности. В участке свободной республиканской Женевы пахло столь же скверно, как и во всех аналогичных присутственных местах. Я окончательно уверовал в это в Стокгольме, где нас тоже водили в полицей-президиум. Но женевские магистраты отличались скромностью: я получил *permis* в соответствии с представленным мною использованным в оба конца заграничным паспортом на имя Michel de Grodetzky.

Став болгаринком по документам, Пайкес честно сберег свой облик и манеры прирожденного русского конспиратора. Он и здесь, в Женеве, зловеще шептался по углам, писал и получал шифрованные письма, причем я сильно подозревал, что он наподобие горьковской Ванды в «Болеси» сам писал их себе или заставлял отвечать свою очередную, женевскую, жену. Непрерывно имел таинственные свидания, «а по утрам она улыбалась!». Pardon! Это он улыбался, круглые сутки, загадочно и ядовито. Вот кто чувствовал себя, как рыба в воде, вот кто наслаждался, ныряя с головой в эту пучину слухов, сплетен, интриг! Послушать его, только ими и заполнялась жизнь всей эмиграции, в частности и больше всего ее верхов. О вкусах не спорят. Ясно лишь, что М. Пайкес покончил бы с собой, не будь у человечества морального исподнего.

После переворота в ЦК и снятия с поста Б.-Бруевича Пайкес ведал всем хозяйством «Искры» и ЦК. Он надолго застрял за границей, предпринял, между прочим, издание сочинений Г. В. Плеханова, к которому, кстати сказать, всегда относился с глубоким уважением. В годы нового раскола партии, перед мировой войной 1914 г., Пайкес принадлежал к партийцам-плехановцам (меньшевикам), а позднее вошел в компартию. Post scriptum: (1948 г.). Об этих днях его жизни я знаю очень мало, главным образом, с чужих слов и по его личным, недавним рассказам. Да, по его рассказам. Потому что жизнь неожиданно опять столкнула нас в 1940 г., после 35-летней разлуки, на улице в Москве. И мы узнали друг друга и, кажется, оба остались довольны этой встречей, и я два раза успел побывать у него перед войной, и нанес ему прощальный визит накануне своей эвакуации, вскоре после начала военных действий.

Невероятно, но я снова убедился в ложности латинского изречения: «tempora mutantur et nos mutamur in illis» (меняются времена, и мы меняемся вместе с ними), в ложности его применения, по крайней мере, к Пайкесу. Он постарел, одряхлел, потерял зубы, это верно. Но он улыбался еще загадочнее и ядовитее и так же сухо, жестко и зло звучал его особый, пайкесовский, смешок, и все так же беспощадно насмешливы и неуважительны были его рассказы и отзывы о товарищах по партии. Я осторожно осведомился, в партии ли он? Он ответил утвердительно и перевел разговор на другую тему. И я понял почему: я наступил на большую «любимую» мозоль.

Дело в том, что Н. Л. Мещеряков рассказывал мне в 1929 г. о том, как, будучи полпредом в Китае (или Японии?), Пайкес соблазнил жену какого-то экзотического южноамериканского посланника, последний вломился в амбицию, поднял скандал на весь мир. Пришлось убрать Пайкеса и исключить его из партии. «Пропал из-за бабы», — заметил с оттенком презрения Мещеряков (осталось неясным, относилось ли это презрение к Пайкесу, к посланнику или к партколлегии, привязавшейся к таким мелочам). Я не стал выяснять у Пайкеса детали этой трагикомедии. К чему бередить явно

не зарубцевавшуюся, вечно ноющую рану? К тому же передо мной сидел отставной крупный сановник, полуразвалина, все еще цепляющаяся за жизнь, все еще жаждущая власти и почета и смертельно уязвленная тем, что его обошли, обогнали, оттеснили новые, юные, беззастенчивые карьеристы, не менее его падкие до почестей и влияния.

2.

Я уже упоминал о существовании в Женеве Группы содействия партии. Собственно, в Женеве их было две. Меншевицкая приняла *nom de guerre* (военное название) «Единение», что служило чисто словесным искуплением греха раскольниковства и инсубординации, в коем зачат был меньшевизм. В нашей группе числилось много членов, но только на бумаге. Работали единицы; большинство участников ни разу и не заглянули к нам. В виде особой милости разрешалось участие в Группе и не эмигрантов, например, из числа зарекомендовавших себя с хорошей стороны студентов. Так я провел в Группу своего московского друга М. К. В.

Современному читателю трудно понять тот интерес, с которым встретили предки этого читателя вересаевские повести «Без дороги» и «Поветрие». В них отражены чувства, мысли и настроения революционно-демократической интеллигенции в момент заката народнических иллюзий. Роман этой интеллигенции с мужиком кончился тяжелым разрывом. Сквозь серую пелену безвременья чуть заметно проступали черты нового увлечения, неясно намечалась завязь, скорее намеки на завязь, нового романа интеллигенции — с пролетариатом. Будь Вересаев сильным талантом, мы получили бы богатую галерею образов и характеров. Но и его скромному, «симпатичному», как говорится в тех случаях, когда больше сказать нечего, дарованию удалось все же создать один прекрасный женский образ — Наташи, мечущейся в поисках настоящего дела, родственной по духу тургеневским Наташе, Елене, Марианне.

Эту вересаевскую Наташу я встретил в Женеве, в партийной Группе содействия «Единение». Ее звали Инной Гермогеновной Смидович-Леман; в эмигрантских кругах ее звали Димкой и Лесенко. Энергия была в ней ключом, а стремительности и подвижности в этой женщине не первой молодости хватило бы на всю нашу Группу. Говорили, что она именно и послужила своему двоюродному брату В. В. Смидович-Вересаеву живой моделью для его Наташи. Похоже на правду. В этом вечно взбудораженном и взволнованно мятущемся существе запечатлены неотъемлемые особенности и свойства русской интеллигентки, бунтарки и правдоискательницы замодкших навсегда времен. Теперь таких русская земля не родит.

Димка была идейно прямолинейна и безоглядно последовательна; в ней имела моральная упругость и чистота аскета и фанатика. Петербургская курсистка («бестужевка») ушла в народ, как до нее делали сотни хороших русских девушек, все эти Фигнер, Бардины, Субботины, Оловяниковы, Перовские. Но И. Г. Смидович не была кающейся дворянкой. Иные песни пелись, если можно так сказать, над ее политической колыбелью. Через марксистские кружки, через «Союзы борьбы» проходили Димка и все ее поколение, заложившее основы РСДРП и создавшее искровскую организацию. Участие в последней привело И. Г. в киевскую Лукьяновку. Ей удалось бежать из здания суда, куда ее привез на допрос городской, и уехать за границу, в Женеву, в эту Мекку русской революции.

Мне кажется, что для Димки не существовало мелких дел в партийной работе. Она состояла в руководстве Заграничной лигой и отдавала свое свободное время с увлечением, с энтузиазмом, *meus affaires* (по мелким делам) Группе содействия партии «Единение». И меньшевизм она восприняла со страстью, целиком, исступленно, как в древние времена принимали люди двуперстие. Она из того же теста, из которого делались Аввакумы и боярыни Морозовы. Несколько месяцев совместной работы очень сблизили и сдружили нас. И когда мы встретились с ней весной 1905 г. на явке в Одессе и она предложила мне ехать не в Севастополь, как рекомендовал мне ЦК, а к ней в Екатеринослав, я немедленно согласился. И не только

потому, что меня звали в громадный рабочий центр, но и потому, что звала И. Г. Смидович, с которой так легко и хорошо жилось и работалось в Женеве.

Правда, мы не совсем сошлись с ней во мнениях. Она была зорче, смелее, дальновиднее, чем более молодые члены Екатеринославского комитета РСДРП. На компромиссы она не шла и, глубоко опечаленная провалом своего проекта перестроить всю организацию на широко демократических выборных началах, уехала в Севастополь. И. Г. Смидович приняла живейшее участие в бурных событиях, потрясавших в октябре и ноябре 1905 г. севастопольский флот и армию. В подготовку и проведение ноябрьского (шмидтовского) восстания большой вклад внес Севастопольский партийный комитет, меньшевистский по своему составу (Смидович, Кантарович, Вороницын, Карпинская).

После подавления восстания Димка эмигрировала и долго оставалась на чужбине. Я не видел ее после октября 1905 г. и потому не знаю ни причин, задержавших ее чуть ли не на двадцать лет в Европе, ни обстоятельств и мотивов, объясняющих совершенно неожиданный и непонятный переход этой старой марксистки и социал-демократки в анархистки. Да! Ярой анархисткой вернулась она в Россию в 20-х годах. Из третьих рук мне известно, что она осталась верна себе: возвратившись на родину, бросилась в анархистскую пропаганду, попала в тюрьму, ссылку. Отбыв последнюю, приехала опять в Москву, ушла на фабрику простой работницей, не смущаясь своим почтенным возрастом и рафинированно интеллигентной внешностью. Мне подтвердили, что она осталась той же встревоженной и тревожащей, непреклонной, изуверски верующей Димкой.

Трагически закончила она свои метания в 1942 или 1943 году. Сестра ее сообщила мне о последнем этапе жизненного пути Димки: о буйном помешательстве, о бесплодном лечении у Кащенко, о смерти. А этому предшествовали действия, так характерные для Инны Смидович: яростная противница войны, она сама составляла антимилитаристские рукописные листовки и пыталась распространять их на улице.

3.

В одном из домов на Place (или rue?) des grands philosophes, в тесноте, да не в обиде проживала многочисленная семья эмигрантов Виленских вместе со своим приятелем С. Б. Гуревичем. Илья Виленский работал наборщиком в типографии «Искры», на rue de la Coulouvrenière (название улицы), прочие члены коммуны, все бывшие искровцы, ставшие меньшевиками или сочувствующими, варились целыми днями во фракционном соку. Я давно потерял их из виду, всех этих юношей и девиц, столь не философски расточавших свои нервы и свое время под оком великих философов. Судьба Виленских мне неизвестна. С Гуревичем жизнь сводила меня неоднократно. Но только прежнего «тов. Бориса» уже не было. Инженер, всецело ушедший в будни своего ремесла, он охладел ко всему, когда-то и его волновавшему. Где Гуревич женевской весны? «Умер, Касьяновна, умер, болезная». Физически он умер во время войны; политически — вскоре после первой революции.

Это был первый мой знакомый семейный дом; здесь меня тепло встретили, и одно время я забегал сюда чуть ли не ежедневно. В одно из таких посещений я застал тут крайне подвижного, худенького юношу небольшого роста, не то чересчур сутулого, не то несколько горбатого, поразившего меня своей неусидчивостью и говорливостью. По разговору я понял, что он недавно из России, что он старый приятель квартирных туземцев. Задавая им десятки вопросов, не дослушивая ответов, перебивая самого себя и других всякими замечаниями, юноша бесперечь вертелся по комнате, одновременно перелистывая одну за другой лежавшие на столе книги. Откровенно сказать, он мне не понравился. В нем было что-то утомляющее, вероятно, вследствие перескакивания с темы на тему и быстрого, с захлебываниями, говорка. Царапал ухо и его тон с нотками капризного, избалованного ребенка, и легонько пренебрежительное «свысока» в отношении к собеседникам.

Это первое впечатление оттенилось еще резче, когда в комнату вошла высокая, молодая женщина, от которой словно струились — другого определения не подберу! — привлекательность и тот мягкий тонкий шарм застенчивости, который стоит всякой красоты. От нее просто нельзя было глаз оторвать. Как я и сам догадывался по фамильному сходству, юноша оказался младшим братом Ю. О. Мартова В. О. Цедербаумом. А пленившая меня и мою спутницу дама — его женой, В. И. В. Они приехали из Екатеринослава.

Истории известны примеры, и нередкие, участия в нашем революционном движении целых семей или, по крайней мере, всего молодого поколения, всех «детей» данной семьи. Достаточно напомнить Бестужевых, давших декабристам 4-х братьев, народников Фигнер, Субботиных и пр. Я знал лично семью Бонч-Осмоловских, где все, от стариков-отцов и до самого младшего сына, принимали то или иное участие в революционной работе (старики — с 70-х годов и вплоть до 1917 г.). Такие случаи знает и позднейшее время: назову лишь к примеру фамилии Гольдманов, Ульяновых, Цетлиных, Цедербаумов.

Семья Цедербаумов «поставила» революции, помимо европейски известного вождя русского меньшевизма Ю. О. Мартова, еще нескольких adeptов социал-демократии. Разумеется, их роль и удельный партийный вес несопоставимы с ролью старшего брата, одного из создателей и руководителей «Искры». Но все они оказались достойными того дела, которое стало делом всей их жизни и которое потребовало от них таких жертв, лишений, страданий. Первое время я встречался с Цедербаумами лишь в столовке и довольно равнодушно, пока один инцидент не сблизил нас, и тогда был заложен фундамент нашей дружбы, пронесенной через ряд десятилетий. Владимир Иосифович Цедербаум, более известный в партийных кругах под своими литературным псевдонимом В. Левицкого, принадлежал к младшему поколению искровцев. Выросши в семье, где все старшие братья и сестры «ушли в пролетариат», В. И. с юношеских лет, еще гимназистом, стал социал-демократом и революционером. Гимназии он не кончил, и могу смело сказать, что сделал сам себя. Человек больших способностей, редкостной усидчивости и огромной работоспособности, он еще в молодом возрасте был разносторонне начитан и, главное, умел работать. Он один из немногих молодых эмигрантов, серьезно занимавшихся в Женеве. Эту способность учиться, читать в любой, самой неблагоприятной обстановке он сохранил навсегда. Он овладел несколькими иностранными языками, переводил, писал в журналах и газетах, выпустил несколько книжек. Думается, что собранные вместе его литературные работы составили [далее часть текста вырезана] ...его высокий моральный строй, его несгибаемый верующий дух.

Несколько позже приехали в Женеву Сергей Иосифович Цедербаум и его жена К. И. Захарова. За плечами у них имелось почтенное партийное прошлое, годы нелегальной жизни, три побега из тюрем, а у него, сверх абонементов, и дезертирство с военной службы. Департамент полиции высоко расценил их заслуги, дав С. И. 10 лет Якутки, К. И. — 5 лет. Но удалось их вывезти из Александровской тюрьмы в корзинах, где они провели 36 часов в согнутом в три погибели виде. И вот, вместо берегов Яны или Колымы, они познакомились с берегами Леманского озера. Их эпопея описана ими самими в брошюрке «Из эпохи «Искры», вышедшей уже после 1917 года. Но это — ничтожная часть материалов, которыми располагали С. И. и К. И. и которым не суждено было появиться на свет.

Искровцы первых призывов, они пришли в эмиграцию в большевистском настроении. Но это увлечение оказалось мимолетным, и вскоре они оба ушли к меньшевикам и оба стали крупнейшими практиками фракции, а он и одним из ее публицистов (псевдоним В. Ежов). В лице этих двух супружеских пар я получил друзей и «сотворцев» (по терминологии почтеннейшего Карла Радека). С ними я прожил душа в душу и проработал рука об руку добрых 20 лет. Других столь же прочно выкованных и деловых, и интимных связей у меня в Женеве больше не завязалось. В С. И. наличие

стывает такое же счастливое сочетание работоспособности, активности и моральной стойкости и упругости, каким одарен и его младший брат. Но, в отличие от последнего, С. И. значительно быстрее и лучше ориентируется в любой житейской, деловой обстановке. Ни у кого из младших Цедербаумов не было такого искрометного таланта публициста, как у Ю. О. Мартова. Но талантливость, но искры дарования имелись в той или иной мере у всех. С. И. много писал, переводил (знал ряд европейских языков), редактировал и т. д. Но когда, в годы своего нелегального житья, он вынужденно брался за иную работу, то с изумительной быстротой овладевал еще вчера чуждой ему специальностью.

Помню, в Баку в 1909 г. С. И., живший по паспорту В. Г. Ежелова, в поисках работы принял предложение занять место бухгалтера в одной нефтепромышленной фирме. Он, не имевший ни малейшего представления об этой нудной и трудной работе, рискнул попробовать и через каких-нибудь 2—3 месяца с честью выходил из всех затруднений. В Москве в 1910—1911 гг. судьба заставила его поступить в контору фабрики Брокар, в отдел рекламы. И что же? Он и здесь не только не сплосал, но сразу выдвинулся в первые ряды как талантливый выдумщик и организатор (то же повторилось и в к-ре Мак-Кормика). И вот так всегда и во всем. Для нашего брата, нелегального революционера, такая гибкость чистейший клад! Особенно во времена глухие, когда партийная и профсоюзная печать не в состоянии была прокормить и одного-то сотрудника или редактора. А в так называемой буржуазной печати не все хотели и могли принять участие. Дело не только в принципиально отрицательном отношении партии к участию в не-своей печати. Некоторые, не смущаясь, перешагивали через этот запрет и уютенько усаживались в удобные кресла солидных изданий. Взять, к примеру, покойного редактора журнала «Современный мир» Н. И. Иорданского, одно время члена ОЦК партии от меньшевиков, потом плехановца, комиссара Временного правительства, а впоследствии советского полпреда в Италии. Его многолетний стаж социалиста не закрыл ему доступа в редакцию московской газеты «Утро».

Или ныне здравствующий академик В. П. Волгин, бывший меньшевик, после Октября ушедший в компартию. Он стал сотрудником «Русских ведомостей» еще в студенческие годы и продолжал свою работу вплоть до 1916 года. Я мог бы привести немало таких примеров. Ибо «что такое совесть» (хотя бы партийная)? — спрашивает Фальстаф у Шекспира, и мудро отвечает: «Слово!»; а «что такое слово? — воздух!». Но если с совестью не так трудно расправиться, то гораздо сложнее было даже соблазнившемуся аккуратно выплачиваемыми построчными социалисту прорваться к кассе (газеты, журнала, издательства). Могло не помочь и наличие несомненного литературного дарования. Иорданский был талантливый публицист, Волгин, в лучшем случае, полезность (говоря по-театральному), набившая себе руку в стряпаньи статей и обзоров.

В дореволюционные годы, как и теперь, количество лиц, чаявших движения гонорара, множилось из года в год в геометрической прогрессии, а количество касс, выплачивающих денежки, — в арифметической. По Мальтусу, другими словами! У каждой кассы толклась очередь, у любого, вновь возникавшего издания немедленно оседала небольшая, тесно сплоченная группа удачников, со скрежетом зубным расступавшаяся перед каким-нибудь получившим доступ к пирогу счастливчиком. Так было, так есть, так будет! Протекции, связи, случай, удача и прочие, на первый взгляд второстепенные факторы являются, на самом деле, решающими, первостепенными условиями в определении житейской судьбы и карьеры... Впрочем, вернемся в Женеву.

4.

«Душа моя — элизиум теней!» — восклицаю я горестно вслед за Тютчевым. Вижу вереницу образов, призраков, теней... Вот милый друг Николай Образцов (по-женевски — Сергей), чистый, душевный человек и товарищ в старом, подлинном смысле слова. Он умер в Петербурге вскоре после

1905 года. Нижегородские демонстрантки Анна Доброхотова и Наташа Синева. С ними я встретился в Екатеринославе в 1905 г., с Д. — позже и в Москве. Наташа — девушка с чудесными синевасильковыми глазами погибла в парижской эмиграции 1909—1910 гг.; Доброхотова умерла в 1920-х гг. в ссылке или в тюрьме. Саратовские демонстранты, давно потерянные из виду, как Фофанов, Архангельская, Коссович...

Фаланга южан-киевлян, ростовчан, одесситов, кишиневцев, астраханцев, бакинцев... Среди них — и оставшиеся «безыменной Русью», неведомыми даже и в нашем узком кругу; среди них — и именитые, получившие широкую известность в партийном мире, лестную по мнению друзей, «печальную» по убеждению противников. Будущие каторжане В. Плесков и А. Станчинский. Я. Боград, расстрелянный колчаковцами в Сибири в 1919 году. С. О. Португейс, лестно или нелестно «опопулярившийся» под псевдонимом Ст. Иванович в годы революции 1917 г. и позднейшей его эмиграции. Редкозубов, в просторечии «розовый поросенок». Не думали мы тогда, что он сменит скромные с.-д. дела на грандиозные, но темные коммерческие спекуляции после Октября. П. А. Бронштейн (Чацкий, Гарви), он же Юрий, тот самый Юрий, чье имя в созвездии Роман — Юрий — Михаил навязло всем на зубах в 1908 и позднейших годах. Это уж подлинный столп и утверждение истины, меньшевик-классик, равноапостольный, Юрий-архистратиг.

Другая виднейшая, основоположенная фигура практического меньшевизма, С. М. Зарецкая. При всей разности наших характеров, между нами в течение долгих лет общения постепенно утвердилось известное *entente* (согласие), если не *cordiale* (сердечное), то *mentale* (духовное). Я всегда высоко ценил ее большой, ясный ум и громадную моральную культуру. Старая гвардия умирает, но не сдается. Зарецкая и не сдалась. Алексей Александрович Тарасевич (Рыбак), член ОК, искровец, отдавший с.-д. движению полжизни и все свое состояние. А умирал он в Москве мучительно, одиноко, в горьком разочаровании. Был люто морозный день 1919 года. Горсточка старых друзей Тарасевича сгрудилась сиротливо вокруг гроба с прахом некогда такого красивого, сильного, бодрого человека. Мысль невольно возвращалась к тем дням, когда так радостно встречали мы этого энергичного, высококультурного и преданного делу работника с.-д. партии в ее самые тяжелые годы. И что же осталось от этого горения и безоглядной траты сердца и нервов? «Схоронили — позабыли»... Но тут забыли еще до похорон. Он оставался членом партии (Московской организации меньшевиков) вплоть до начала болезни, т. е. в 1917—1918 годы. Но крупных постов уже не занимал и неизрасходованную часть своей энергии он, талантливый организатор, отдал изданию великолепного журнала «ПРИРОДА». Руководителем последнего стал брат Т., крупный бактериолог проф. Л. А. Тарасевич.

Вот М. Гурвич, талантливейший пустоцвет. Несколько раз пересекались наши жизненные траектории, и ничего не удержалось в памяти кроме ощущения утомления от встреч с ним. М. Панин (Макадзюб). Его звезда взошла в приснопамятную послесъездовскую эпоху лабораторных меньшевистских исканий наилучшего оргплана. Я не хочу сказать ничего дурного об этом заумнейшем алхимике, мастере ювелирного цеха в Одессе, согретом П. Б. Аксельродом на груди. По признанию ряда товарищей, особенно из стариков, Панин — *Wunderkind* (чудесное дитя) по возрасту, правда, скорее перестарок, светило ума. Мне всегда казалось, что темпы его мышления чрезмерно заторможены и П. рискует оставить и иное, не столь светлое, впечатление. Как удавалось Аксельроду выдерживать общество своего ученика несколько часов кряду, понять невысказанно. П. был фантастом, поэтом организационного прожектерства, но поэтом так наз. научной школы, без божества и вдохновения, без искры таланта. П. входил в один из многочисленных, но всегда призрачных ОК, которые так любило создавать революционное меньшевистское подполье. В них, в эти руководящие центры отбирались всегда почему-то люди стиля Панина, тоже все светильники ума. Кроме того, все ОК отмечались невероятной конспиративностью и так

ловко прятали концы в воду, что никаких следов деятельности ОК не могли обнаружить ни охранка, ни фракция. Эту хитрую механику кое-кто объяснял отчасти тем, что ОК у нас составлялись преимущественно либо из женщин с мужской складкой ума (Р. С. Гальберштадт, С. М. Зарецкая, Л. Н. Радченко, Е. М. Александрова), либо из мужчин, походивших в точности на добрых старых баб (Панин, А. Гринцер, А. Мартынов и т. п.).

Я не в силах отметить ни одного практического шага ОК, который стал бы известен нам, ну, допустим, через год — два или позже из какого-нибудь исторического журнала. Но как могло бы быть иначе, раз коллектив составляли сплошь из резонеров и лиц, отравленных рефлексией? Вот еще один участник той же организационной оргии, Ф. А. Липкин-Череванин, приезжавший в Женеву на краткий срок по окончании ссылки. С.-д. не первой молодости, известный во времена легального марксизма под фамилией П. Нежданова, Череванин был на подозрении у стариков в связи с какими-то ревизионистско-еретическими операциями его с моралью (в книге «О нравственности»). Но как раз к тому времени он помирился с Марксом, сразу определился как меньшевик, и блудного сына встретили радушно и приветливо. Заклали ли в его честь жирного тельца, из летописей не видно, но он принес на алтарь очищения небольшую брошюрку на мотивы крыловского квартета, и ее немедленно предали тиснению. «Потом печатают, и в Лету — бух!». Череванин — это уже прямо цитатель меньшевизма. Но он вместе с тем с.-д. старой закваски, широкого дыхания, разносторонних интересов, большой эрудиции.

Вот... «Aber diese Periode hat endlich ein Ende, der Atem wollte mir ausgehen!» (Но у этого периода есть конец, и дух из меня вон!). Переводя, по совету Heine, дух, сообщу что мой красноярский тюремный клиент Мика Ларин (М. С. Лурье) бежал-таки из Сибири, но уже из Олекминска, завладев чужой очередью. По дороге претерпел бездну несчастий вроде ареста на границе, каким-то дьявольским везением выкрутился и прибыл в Женеву. Однако по болезни он жил вне колонии, и познакомились мы с ним лишь в Стокгольме.

5.

Рабочих в эмиграции имелась горсточка. Это неудивительно, если помнить социальный состав с.-д. партии той эпохи. Не говорю о периоде первобытной с.-д. культуры: тогда в «рабочей с.-д. партии» на долю рабочих приходились какие-то дробы, вроде той «четверти лошади на квадратную душу», как говорится у Глеба Успенского. Правда, бывали исключения. Если верить старожилам, обычно ничего не помнящим, в «Московском рабочем союзе» начала — середины 90-х годов насчитывалось будто бы несколько сот рабочих. В дальнейшем, особенно в искровскую эпоху, положение значительно изменилось, если вообще можно доверять исчислениям. Какой мог быть в подпольной обстановке учет? Только на глазок. Руль управления всецело находился в руках профессиональных революционеров, eo ipso (тем самым) лиц, не прикованных к производству или службе, не связанных оседлостью и хозяйством, а, напротив, кочевников по духу и роду занятий, готовых в любой момент свернуть или просто бросить свою незначительную утварь и покинуть свою скромную обитель. Большинство из нас, поистине, omnia sua (все свое) носило в кармане.

Искровство, уводившее в профессионалы сотни, если не тысячи, интеллигентов, в рабочей среде могло захватить лишь единицы одиночек, преимущественно из зеленых юнцов. По условиям работы, быта, привычек, обстановки, по самому складу и облику своему рабочий с трудом осваивался с новой обстановкой после перехода на нелегальное положение. В значительной мере он даже обесценивался при этом: середняк-рабочий терял все, разрывая привычную связь со своим окружением, а организация приобретала очень мало, много меньше, чем давал средний интеллигент и даже экстерн. Естественно, в эмиграцию попадали, так сказать, сливки рабочей, очень немногочисленной в те годы, революционной интеллигенции, единицы из единиц, сжегшие за собой все корабли и всецело ставшие мастерами красного цеха.

Замечательное дело! Многократно я наблюдал, что видные рабочие, казавшиеся дома большими и яркими людьми, попав в эмиграцию, как-то мельчали, тускнели, становились меньше ростом. Например, знаменитый в свое время сормовец П. А. Заломов (Петр в горьковской «Матери»). Я познакомился с ним в Красноярской тюрьме летом 1903 года. Впечатление он оставил неизгладимое: вот из такого теста выпекаются Бебели. В Женеве я широко рекламировал Заломова в кругу эмигрантской с.-д. молодежи. И вот когда он попал в Женеву (меня там уже не было), мои друзья, памятуя эти рассказы, отнеслись к нему с величайшим вниманием и интересом. Мы ведь были наивны донельзя: мы так жаждали появления Бебелей и верили в их приход. Позже, когда я заезжал в Женеву перед возвращением в Россию, со всех сторон слышал шуточные подтрунивания над моей восторженностью и склонностью к преувеличениям: ну, что особенного нашли Вы в Заломове? Да! Если вспомнить, что в дальнейшем сормовский Петр ни малейшей серьезной роли в политической и партийной жизни не играл и ни в какие Бебели не вышел, то, очевидно, я явно и сильно пересолил.

В тот же год я познакомился с И. И. Егоровым (Фомой), типичным представителем деклассированного профессионального революционера из рабочих. Колоритная — *sui generis*! (своего рода) — фигура. Никто так часто и так самоуверенно не выступал в Мартовском клубе, как он; никто так заразительно первым не смеялся над собственными остротами и шутками, как И. И. Егоров, самый шумный из всех эмигрантов 1904 г., из-за которого русских перестали пускать в тихое, уютное *café Landolt* (название кафе). Егоров был захвачен еще поздненародовольческой пропагандой среди рабочих. Тогда же он начал свое хождение по тюрьмам и ссылкам; к счастью, и в отличие от многих других, свой нелегкий путь он все же закончил в февральские дни 1917 г., проделав на нем сложные метаморфозы: народоволец — большевик — меньшевик — коммунист послеоктябрьского призыва. Он всегда имел наготове портативный узелок с набором простейшего тюремного инвентаря: зубная щетка, мыло, кружка, ложка, смена белья и т. п. Неприхотлив он был чрезвычайно. Много раз сталкивала нас с ним судьба, но другой личной жизни и личных интересов у него никогда не наблюдал.

Нетрудно понять, почему, будучи на родине, в своем кругу, настоящим полноценным человеком на настоящем месте рабочий, так наз. сознательный, распропагандированный рабочий терялся и блекнул в Женеве. Не забудем, что рабочий рано, чуть ли не с детских лет попадал в трудовую упряжку, работа становилась его второй натурой, у него имелся плохой, неуютный, но твердый быт. Заграничное вынужденное безделье, эмигрантская безбытность тяготили рабочих сильнее, чем интеллигентов, зато у последних значительно более развиты были навыки и умение работать умственно, кабинетно-теоретически. Это противопоставление земного практицизма (в хорошем смысле) несколько отвлеченной книжности (доктринерству) сделано мною не случайно. Оно имело место в те годы, как наличествовало и стремление интеллигентов руководить, направлять, вносить сознание извне, короче, брать на себя функции св. Духа, насиживавшего по книге Бытия бездны. А отсюда вытекало известное старикам (но тщательно замалчиваемое ныне) приснопамятное интеллигентоедство как раз среди так наз. передовых рабочих; здесь корни не менее известной когда-то антиискровской рабочей оппозиции (о чем теперь тоже не принято упоминать в кратких и пухлых исторических трудах).

К моменту появления «Искры» на местах не первый год вели организационную и агитационную работу «Союзы борьбы», позже — партийные комитеты и пр. Вырос и окреп в доискровский период известный слой руководителей из самой пролетарской среды, твердо, хотя, возможно, и несколько упрощенно усвоивших лозунг I Интернационала: «Освобождение рабочих есть дело рук самих рабочих». И когда в города с наличием таких, с низов поднявшихся, местных вожаков, завоевавших авторитет в своем кругу, являлись профессиональные революционеры, искровские

агенты, зачастую тоже весьма своеобразно понимавшие идеи «С чего начать?» и «Что делать?», на местах начинались конфликты, вспыхивали антиискровские бунты, вырастала рабочая оппозиция. Искровцы выметали «очаги экономизма», уничтожали даже намеки на выборность, самостоятельность и прочие ереси, за которые цепко держались именно передовики-рабочие.

Я утверждаю, что интеллигентоедство — весьма распространенное явление. Только одни носили и предъявляли его совершенно открыто, не стесняясь; другие более или менее тщательно, более или менее удачно таили его в себе. К числу первых можно отнести, например, выдающегося, умного, дельного рабочего, в Екатеринославе звавшегося Лукой, а в Женеве носившего оригинальную кличку Громила (умер в 1907—1908 гг.), или Ломов (настоящей фамилии не помню). Ругатель он был отчаянный, резкий, порой грубый, непримиримо враждебный ко всему, где он чуял искровский душок. Он превосходно уживался в Екатеринославе в 1905 г. с меньшевиками, во взглядах которых ему слышалась родная старина. И он был прав. Потому что меньшевизм, защищавший выборное начало в организации партии (с оговорками и оглядками на большевистскую «княгиню Марью Алексеевну») и широкий доступ рабочих в партию или, как выражались тогда на варварском подпольном жаргоне, «орабочение» партийного состава и, в частности, руководства, — меньшевизм, говорю я, лишь подхватил порванную преемственную линию развития.

Интермеццо

В нашем кругу держалось ни на чем не основанное убеждение, будто бы меньшевистская фракция богаче большевистской литературными и вообще интеллектуальными силами. В создании и упрочении этой лестной (для меньшевиков) легенды повинны сами наши «братья» — большевики. Стремясь дискредитировать меньшевиков в глазах широкого общественного мнения, большевистские публицисты творили миф об интеллигентской природе меньшевизма, рассчитывая таким путем подорвать авторитет фракции в глазах рабочих и выводя из природы своих антагонистов их «оппортунизм» (сначала только в организационных вопросах, а потом и в практических).

Но истина вовсе не есть результат полемических преувеличений. Возьмем, к примеру, воззвание 22-х большевиков (по поводу раскола): это подписи 22-х чистокровных интеллигентов. Из того же социального слоя обе фракции черпали своих цехистов, комитетчиков и почти всех ответственных работников вплоть до 1917 года. Обе фракции по социальной своей природе, по своим классовым признакам — плоть от плоти, кость от кости российской разночинной так наз. революционной интеллигенции. Так наз. высоколобая, highbrow, дипломированная, квалифицированная интеллигенция почти не поставляла живого материала. Адепты обеих фракций принадлежали к «мелкобуржуазным» слоям, если применить типичную газетную терминологию партийной печати.

И когда я сейчас мысленно представляю себе женевские заседания, дебаты, личные встречи и т. д., я не в состоянии нащупать сколько-нибудь ощутимых качественных различий в интеллектуальном отношении между сторонами. Разница, конечно, имеется, но ее следует искать не в области умственных отличий, а в психологической плоскости. Я сказал бы сильнее: обе фракции во многом так похожи друг на друга, что могли бы почитаться близнецами, и именно потому, что приверженцы этих внутрипартийных группировок всего лишь разновидность вида, именуемого *homo rossicus intelligens radicalis* (русский интеллигентный радикальный человек). О, это особая порода, эта российская радикальная интеллигенция, особенно в марксистском воплощении и оформлении. Я всю жизнь провел в ее кругу, я разделял ее симпатии, вкусы, настроения, предрассудки и могу судить о ней достаточно беспристрастно.

Российские радикальные интеллигенты отличались всегда смелостью суждений и, одновременно, косностью мысли. Любой из них, а марксист впереди всех, возьмется за решение любой проблемы, хотя бы он впервые и услышал-то о ее существовании. У Тургенева в одной из пьес фигурирует студент, переводящий, не зная языка, французский роман. Если не ошибаюсь, такой казус был и с Белинским. Но нужда заставляет и не то делать, потому что голод не тетка. А вот какая нужда заставляла того же Белинского, знакомящегося с германской философией, главным образом с голоса друзей, забираться в дебри метафизики? Какая нужда обязывала филолога Писарева вмешаться в спор Пастера с Пуше, разносить первого, защищать второго? Ввязываться в спор, суждения по которому Дарвин (Дарвин!), не считая себя компетентным, высказывал лишь в частных письмах? Но русский мальчик, прочтя Фохта, Мошотта и Бюхнера, ринулся в бой, в наивности полагая, что спасает материализм, если отстаивает Пуше!

Но тут дело идет о гениях или о больших талантах и умах. А тут еще Гете, к несчастью, бросил опасный афоризм: «Гений может не знать тысячи вещей, которые обязан знать каждый школьник». Спрятавшись за Гете, всякий «середняк» и даже «бедняк», особенно ежели он марксист, берется устраивать вселенскую смазь «буржуазным» ученым любого калибра и любой специальности. И только на том основании, что он, в лучшем случае, прочел «Эрфуртскую программу» и купил для изучения I том «Капитала». Говорю о далеком прошлом, когда 90% почитателей революционного марксизма не заканчивали свое самообразование. Но если этот гипотетический почитатель обладал даже и более обширным капиталом, знал языки, прочел все три тома «Капитала» и многое другое, получал ли он право на неограниченную смелость суждений *de omnibus rebus quibusdam aliis?* (о всяких любых вещах).

Как будто нет! Однако укажите хотя бы одного уважающего себя публициста-радикала (народника, марксиста и т. п.), который не считал бы, что ему «звездная книга ясна» (именно ему!) и что «с ним говорит морская волна» (именно с ним!). Нет таких! Все они писали и о философии, и о политике, и об искусстве, и о первобытной культуре, и об аграрном вопросе, и о шахматных стилях Морфи и Алехина, и о танцах Дункан, и о собачьем налоге в древности, и об *ut consecutivum* (форма латинского предлога) у Сенеки, и о влиянии солнечных пятен на нравы допотопных животных... Слов нет: история мысли знает примеры, особенно в отдаленном прошлом, такой всеотзывчивости, опирающейся на солиднейшие энциклопедические знания. Гений Винчи, Вико, Лейбница, Канта, Гегеля, Гете, Вольтера, Спенсера, Ньютона и др. чувствовал себя своим в самых различных и порой неожиданно разнородных дисциплинах. Но универсализму интересов и откликов не всегда прямо пропорциональны универсальности образования и правоспособности.

И *dii majores* (великие боги), скажем, марксизма (Маркс, Энгельс), и их ученики (Каутский, Плеханов, Ленин) тоже разбрасывались, откликались на самые разнообразные вопросы и запросы, касались самых различных тем. Всегда ли и у них было на то право, всегда ли имелась надобность в такой отзывчивости, всегда ли они с честью выходили из своих смелых набегов на самые разные научные области — спорный вопрос, решать который мне недосуг. Но вместе с тем я понимаю, что к подобной чуткости их понуждала вся историческая обстановка, поскольку новая религия — а марксизм (или революционный социализм) и есть *sui generis* (своего рода) религия — требовала создания на все откликающегося катехизиса, общедоступного *vademecum* (путеводителя) или лечебника от всех болезней. Необходимо было противопоставить стройной, веками выковавшейся догме противника во всем ее многообразии и сложности свои каноны и суеверия, свои заповеди и предрассудки.

К тому же старшие, первоучители, все-таки старались более или менее добросовестно, с большим или меньшим успехом, изучить предмет, о котором они намеревались писать. Кто хочет познакомиться с лабораторией

творчества Плеханова, Ленина, Маркса, пусть прочтет материалы к их работам, все эти конспекты, выписки, планы т. п., опубликованные в последние годы. Между тем ни малейшая необходимость не толкает под руку *dii minores* (малых богов) «откликаться» или «высказываться». Никто их об этом не просит, и они зря упускают случай промолчать. Тот же Писарев удачно заметил, что русским ученым называется человек, который из двух-трех чужих иностранных работ делает три-четыре русские. Эта ядовитость, однако, бумеранг! Так поступали наши ученые в период младенчества отечественной науки. Но так же делали и делают русские публицисты и журналисты независимо от периода. Можно брать не заграничных ученых. Берут, допустим, сочинения Ленина; методично, степенно, аккуратно настригают из них н-ое количество цитат; так как у Ленина найдется достаточно выдержек из действительно прочитанных им книг, то почему бы не воспользоваться и этим чужим урожаем, благо на него, видимо, не распространяется декрет об охране священной собственности.

Затем наступает второй акт творчества: конструктивно-оформительный, или размещения цитат на полосах бумаги и собственноручного заполнения промежутков союзами, междометиями, знаками препинания, номерами глав и т. д. Третий акт — получение гонорара. Обычно это разница между выкачанным авансом и всей причитающейся за детище суммой; дабы получить чистую прибыль, следует вычесть стоимость клея, чернил, бумаги и т. п., но приличный автор норовит все издержки производства переложить на издательство. В четвертом акте — *ceteris paribus* (при прочих равных условиях) — час славы: «Маменька, меня пропечатали». Но это может быть и час горечи, если автор чем-либо не потрафил какой-нибудь особе, сильной в сем мире. Тогда на него спускают ждавшую своего часа стаю борзых, в клочки разносящих свою жертву, порой книгу, которая вышла за 5—10 лет до критического гона и давно исчезла с рынка. Но в обоих случаях — победы (венчаемой премией) или поражения (иногда оказывается, что премировали-то зря!) — творческий метод (или, как теперь говорят, творческий путь) *dii minores* совершенно одинаков.

Но русский интеллигент-радикал вместе с тем и невероятно косный человек. Потому что он на 95% верующий и только на 5% знающий что-либо человек. Толстой уверял даже, будто всякий русский ничего не знает и, кроме того, убежден, что и знать-то ничего нельзя. Но это явное преувеличение, характерное для толстовского снобизма. В своих знаниях интеллигент твердо уверен, а в особенности убежден в том, что и на 5% понятия ни о чем не имеет, а вот он все знает. Не всем удастся представить дело так, будто его образование энциклопедично. Интеллигентам-марксистам сказали, что философский материализм (диалектический) — неразрывная, составная часть, даже основа научного социализма и социалистического строительства, и Боже его упаси пошевелить здесь хоть камушек: не будет тогда и социализма. Мы уверовали в это. В большинстве случаев естественных наук интеллигенты его не знали, с философией знакомились преимущественно по популярным историям и кратким курсам, и то в лучшем случае; за движением и течениями научно-философской мысли следить в состоянии не были, а если и пытались, то это по пересказу в домашних толстых и тонких журналах. Интеллигент верил своему авторитету, «властителю» своих «дум» (как любили выражаться в старину). Сегодня это были Белинский и Герцен, завтра — Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Лавров, Бакунин, Ткачев, Михайловский, послезавтра — Плеханов, Ленин, Виктор Чернов, у некоторых — Троцкий. Бывали совсем крошечные кумирчики, вроде Варфоломея Зайцева, Антоновича, Пешехонова, Махайского, Деборина.

Если марксист судил, допустим, о работах Струве, Булгакова, Бердяева и т. п. (беру лиц, в начале своего пути связанных в той или иной мере с марксизмом и с.-д-тией), то к оригиналу он почти никогда не обращался, веруя в статьи Плеханова или Луначарского, Ленина или Л. И. Ортодокс. И это потому, что русский революционно настроенный интеллигент не только косный человек. Он, в сущности, крайний трус в области мышления.

Он боится читать «чужие» книги. Кто из нас, по правде говоря, читал, — не то что уж изучал! — крупнейших русских мыслителей не-марксистского, не-революционного лагеря? Например, Киреевского, Хомякова, К. Леонтьева, Данилевского, Федорова, Вл. Соловьева, Чичерина и многих других? Единицы! В лучшем случае о них составляли представление по «своей» литературе, т. е., скажем, Чичерина знали (с самой плохой стороны) по полемике с ним Зиберы и Михайловского; Кавелина — по статьям Сеченова (если только читали и последние!); Данилевского и Страхова — по Тимирязеву, и т. д. Примеров — тысячи. И то же имело место в отношении европейской литературы: право на наше внимание получали лишь «барышни»... виноват! — писатели «нашего круга», да еще лишь при рекомендации своих, «глубоко своих» чичероне. Достаточно было Горькому дать безвкусно отрицательный отзыв о Марселе Прусте, чтобы последнего перестали выпускать. Еще бы, «сам» не похвалил (впрочем, может быть, я клеплю на Горького; возможно, это сказал К. Радек, тоже авторитет *soi disant* (мнимый)).

Я настаиваю на своем утверждении, что данная выше характеристика приложена в одинаковой степени к марксистам всех толков, к с.-р. левым и правым, к беспартийным революционерам, к анархистам. Могут быть индивидуальные отклонения и исключения, но правило остается в силе. Когда мне приходится наталкиваться в печати, особенно в «трудах» свежеспеченных красных доцентов и профессоров, о существовании в описываемые мною годы четкой линии водораздела между меньшевиками и большевиками во взглядах на литературу, искусство, театр, философию, чуть ли не на балет и спорт, я только диву даюсь. Чего больше в доцентских суждениях: личного невежества, спекуляции ли на чужую неосведомленность, решать не стану. Ясно лишь одно: самоуверенности и карьерной бесцеремонности в обращении с фактами прошлого у них избыток.

Откуда взялся, например, «меньшевистствующий идеализм»? И что это вообще за феномен? Как эти преступники «изгегелизировали» (это не я выдумал такой срам!) марксизм? Оказывается, это коммунисты Лунпол, Карев и К°, а их духовный отец — Деборин (и Саул во пророках!), бывший когда-то меньшевиком. Но будучи последовательным и памятуя, что Деборин раньше обретался в сионистах, не сочинить ли сионистствующий или сионствующий идеализм в *pendant* (приложении) к сионским высотам Державина или сионским мудрецам Нилуса? Или цитируется статья покойного Н. Коробки, сочиняется *ad hoc* (к сему) легенда о якобы меньшевизме и делается обобщение: «Так меньшевики затушевывали революционную шуйцу Гоголя». Грош цена такой науке!

Все это в высокой мере беспочвенно и неосновательно. Если бы в 1904 и следующих годах провести массовую анкету среди партийцев в целях определения их взглядов, вкусов и оценок в области духовной культуры, получилось бы полное, документальное, внефракционное совпадение, тождество критериев. С моей теперешней точки зрения, говоря откровенно, воззрения эти примитивны, вкусы элементарны и неразвиты, оценки косны и рационалистичны, чутья ни грана, кругозор чрезвычайно ограничен. Приходится лишний раз повторить: революционеру как типу чужда и страшна смелость и самостоятельность мысли, он связан догмой и шаблоном.

Вслушайтесь в философские споры последних 20—25 лет. При скольконибудь добросовестном отношении к чужим мнениям нетрудно установить, что нет никакой возможности провести демаркационную черту между фракциями по этой параллели. Станем на момент на точку зрения Ленина, признаем, что позитивизм есть стыдливый, или не осознавший сам себя, идеализм. Тогда окажется, что все писатели, по философской части — большевики (кроме 1—2 чел.), сплошь заражены идеализмом. Достаточно напомнить имена Луначарского, Богданова, Базарова, Бермана, Суворова и прочих участников сборников «Очерки реалистического мировоззрения», «Очерки философии коллективизма» и т. д. И стоит ли дразнить гусей и вспоминать, кто выступал против них, выступал еще тогда, когда самая

сильная голова большевизма не имела твердой уверенности в том, на чьей стороне истина.

Сейчас я этих двух станом не боец, и если читатель подумает, что «Платон мне друг» и поэтому я вступаю за него, то такое допущение в корне неверно: мне друг — правда и справедливость. Довольно и тех серьезнейших разногласий между фракциями (начиная с 1903 г.), которые действительно существовали и в конце концов развели их навсегда. Незачем теперь высиживать дутые разногласия и подкидывать их в умершее, плохо изученное красными доцентами и профессорами, прошлое. Да и доценты-то блуждают в трех соснах, поедая друг друга, как пауки в банке. Где непогрешимый Деборин? Где усиленно рекламированный Луппол? Где Цейтлины, Каревы, Залкины, Васильевы, Баммели, Сарабьяновы и прочие жвачные любомудры, как сказал бы старик Шеллинг? Теперь в моде, кажется, Митин (а может быть, Селектор?); но кто поручится, что завтра его не скovyрнет с трона Петин или Машин? (и скovyрнули! На смену пришел «философ» Александров). Ленин писал, что один Плеханов сделал для философии марксизма больше, чем все теоретики Второго Интернационала, вместе взятые. Боюсь даже класть всех доцентов на чашку весов против Плеханова, как бы они не взлетели так высоко, что бессильно станет земное притяжение и мир лишится и Александрова. (Увы! Мир его лишился. Его перевесил вовсе не Плеханов, а всего лишь знатный незнакомец Светлов).

* * *

Философские сюжеты вызвали у меня воспоминание о маленьком полуслепом начетчике и книголюбе В. О. Столпнере. Материально в нем осталась совсем мелочь: очки невероятной диоптрии и горсточка волосиков по окраинам абсолютно голого черепа. Остальная материя претворилась (или растворилась?) в дух, явно бессмертный, ибо этот физически невесомый старик в 1930 г. не имел уже ни единого волоса на голове, ссохся до состояния мумии, но по-прежнему рылся в Гегеле и тому подобных непроходимых дебрях. Он пользовался славой философа, энциклопедиста, знатока национального вопроса и бундоеда. При мне последнего удовольствия он так и не получил: ни одного бундовца скусать ему не удалось. Ничего не берусь сказать о нем как мыслителе и литераторе, но единственно потому, что кроме хрестоматий (т. е. сборников отрывков из чужих работ) и переводов он ничего еще не опубликовал. Могу зато присягнуть, что речь Столпнера в 1912 г. в Петербурге на реферате Вячеслава Иванова о Гете была до того туманна и неисследимо сложна, что самый реферат показался всем прозрачно ясным и легким, как стих Пушкина. А казалось, что заумнее Вяч. Иванова быть нельзя.

6.

Сознаться ли? За всю эмиграцию я почти рта не открыл на больших собраниях. Не скажу, чтобы я отличался из ряда вон выходящей тупостью или дал обет молчания. Я не страдал и излишком скромности. Напротив! Как большинство молодежи, слегка нюхнувшей пороку, я был скорее преувеличенного о себе мнения, переоценивал свои достоинства и втайне мечтал о гордой славе («для чего же жить-то, как не для гордости?» — говорится где-то у Достоевского). Как странно! В Москве, в Красноярске, в Иркутске, в кругу гимназических друзей, среди товарищей по ссылке, порой значительно превышавших меня и годами, и житейским опытом, и знаниями, я никогда не терялся, не робел и за словом в карман не лазил. И везде с моим мнением считались, относились ко мне, как к равному, не зажимая мне рта насмешками и снисходительным «сверху вниз». А вот в Женеве все сложилось по-иному. Правда, в узком кругу, в частности в Группе содействия и т. п., я и теперь не отказывался от разговоров.

Сейчас я думаю, что суть-то вся именно в самолюбии в сочетании с застенчивостью. Я сознавал свою незрелость, свою неподготовленность

и боялся смертельно обнаружить их, попасть впросак и очутиться на чьих-нибудь зубах. Соглашаюсь наперед, что мотивы мои мелки и чести мне не делают. Но я рад теперь, задним числом, что помалкивал! Потому что, скажите, что хорошего и в распространенном родном ораторском обычае-приеме: «Хотя предыдущий товарищ сказал все, что думал сказать я, но все же разрешите мне что-нибудь добавить». И дальше следует часовая толчея воды в ступе и обнаруживается пред *urbem et orbem* (градом и миром), что добавить-то ему положительно нечего. Хорошо иметь вот такую сказочно былинную, детски чистую самоуверенность, как у покойного Лурье-Ларина. Когда на съезде в Стокгольме (1906 г.) гильотинировали прения, обделив десяток-другой местных витий, все они молча проглотили обиду. Ларин поднял визг на весь Народный дом: «Все, выступавшие до сих пор, — заявил он, — не сказали ничего нового и оригинального, а я имею сказать нечто новое и оригинальное». Зайцу дали клок медвежьего ушка: Ларину предоставили слово; не так-то просто отделаться от его мертвой хватки. Кому не лень, пусть перелистает протоколы съезда и сам узнает, что есть в сем мире оригинального.

Такой уверенности в себе у меня никогда не имелось. А зубки попадались востренькие, чаще всего там, где развязность находилась в обратной пропорции к умственной нагрузке зубастых людей. Я с завистью слушал смельчаков, и часто после речи какого-нибудь «предыдущего оратора» мне казалось, — этот оптический самообман известен всем! — я сказал бы это куда яснее и лучше. Помню: в Париже на подмостках неоднократно подвизался бундовский вундеркинд Шанин (Шапиро). Юноша лет 18-ти, не больше (бундовцы божились: 16!), спокойно, невозмутимо, как маститый академик, подымался на эстраду, уютно прижимался спиной к кафедре и читал нам всем нотацию... простите! лекцию, длинную, нравоучительную, медленно скандируя и смакуя каждый звук. Повод, тема, случай — безразличны. Национальный вопрос... Ну, это пустяк! Здесь все бундовцы специалисты... Аграрный вопрос... Всеобщая стачка... Политические задачи... Философия... Финансы... Текущий момент и наша тактика... Санскрит... Китайский фарфор... Религия Зороастра... Опять наврал: по трем последним проблемам он не оппонировал, но, даю слово, только оттого, что никто при мне не делал докладов на эти темы. А то он возражал бы! И в долгу не остался бы. И так же сияла бы улыбка снисхождения и превосходства на его полудетском личике, обезоруживая референтов и аудиторию.

Казалось, тут бы и вспомнить: «А сколько лет ему, вопрос? Пятнадцать? Только-то? Эй, розгу!». Но бундовцы были в восторге. Интересно, что сам Шанин никогда не делал доклада, он только брал слово в прениях. И выгоднее, и эффектнее. Не знаю, что делал и чем был Ш. после Парижа. Мельком я видал его в 1917 г. в финансовом отделе СРД в Петербурге; знаю, что потом он наркомпродал на мелких постах. Но увы! Это был не парижский Шанин, а ординарный Шапиро. Да, Моцартов, дающих концерты пяти лет отроду, маловато на свете: мир знает лишь одного такого Моцарта за всю историю музыки. Вот, поди-ка, смути такого, когда он сам всякого в тупик загонит. О людях подобного стиля еще Щедрин писал: «Сделайте меня губернатором, буду губернатором; сделайте цензором, буду цензором... Всем могу быть. Могу даже быть командиром фрегата «Паллада».

Люди такой складки (а их немало было в подполье, в частности в эмиграции) верили, что несколько марксистских брошюр дают ключ ко всем загадкам и тайнам мира и общежития и освобождают от необходимости читать, учиться и, особенно, самостоятельно думать. Отсюда их суверенное презрение к чужому мнению, к «буржуазной» науке, зачастую являющееся синонимом непролазного невежества, отсюда их нетерпимость. Базаров в «Отцах и детях» удачно подметил, что «человек все в состоянии понять — и как эфир трепещет, и что на солнце происходит, а как другой человек может иначе сморкаться, как он сам сморкается, этого он понять не в состоянии».

(Окончание следует)